

Елена КАСЬЯН

Сезонные смыслы

Всё будет так, как должно. Пройдут дожди, уляжется ветер, улягутся листья. И в этой сезонной наготе не будет весенней трогательности, но лишь строгость и отстранённость.

Поверх всего упадёт первый снег. Так присыпают тёплый ещё пирог сахарной пудрой, а она темнеет, растворяется, тает... и нужно присыпать заново.

Затвердеет мякоть, затянутся прорехи. Поблекнут цвета, просочатся внутрь каждого предмета и заживут другой — тайной — жизнью. Никаких внешних избытков, теперь только вглубь, к самой сути, к сердцевине.

Время новой оптики, контрастного пространства, внимания к неочевидным вещам, чьи смыслы становятся более выпуклыми и отчётливыми.

Кто-то ещё успеет напасти немного тепла, распахнуть по карманам, спрятать за пазуху.

Горечь остынет и ляжет усталостью на дно души.

Лягут в постель влюблённые и нелюбимые: кто-то — в свою, кто-то — в чужую, кто-то — в ничью...

Осень всех разложит по полочкам и ячееккам, всё уточнит и приведёт в соответствие.

Время внутреннего безмолвия и созерцания.

Время обучения новому сердечному ритму.

Время густеет, словно ранее собранный мёд. Теперь перезревшее лето будет настаиваться в тайных кладовых до следующего сезона. Зимой можно будет принимать его по чайной ложке воспоминаний — как лекарство, как профилактику от холода и одиночества.

Город ещё тёплый, и воздух его прозрачен. Но осень уже проступает в прожилках листьев, в случайных порывах ветра.

Небесный маятник снова качнулся в сторону внутреннего севера, и скоро наступит время тёплых шарфов и мягких пледов, горячего чая и ранних сумерек.

А пока сентябрь. Янтарная сердцевина года, его каштановое сердце — тёплого и шершавого на ощупь. Время новых смыслов и новой оптики, опыт отвыкания и отпускания.

В воздухе столько смерти, что жизнь прекрасна! Сейчас понимаешь это острее.

Хочется бесконечно смотреть на эту качающуюся крону огромного дерева за окном... Так ветер обнаруживает себя, не имея иных возможностей показать своё присутствие, не умея обрести ни цвета, ни плотности.

Так внутри меня раскачивается тяжёлый маятник, всё сильнее и сильнее, пока не пробьёт одну из стен. И, кажется, уже нет разницы, куда падать сердцу...

Только бы эти колыбельные ветви всё качались и качались, только бы сентябрь нежно и уверенно проступал в прожилках листьев.

Сентябрь прозрачен, его воздух проникаем. Его звёзды ярче и ближе, чем когда-либо. Они смотрят в тебя до самого дна, молча, словно глаза вечности.

Концентрация этой тишины порой становится невыносимой.

И чтобы разбить эту тишину, приходится произнести слово. Оно зреет в тебе, как гроздь винограда, как тёплая мякоть персика и абрикоса, как садовая роза, оплетающая ограду внутреннего сада. Оно наполняется соком и светом, силой и нежностью, единственным смыслом. И слово это — Бог.

Где в песне ветра — отрицание смерти, Уже душа прозрачна и легка, Ещё стоишь, как продолжение тверди, Но прямо сквозь тебя течёт река.

Ещё сшиваешь мир с изнанкой слова, Не ожидая ничего взамен, Ещё не отнят у всего живого, Уже разъята на космос и на тлен.

Уже разъята на жизнь и на иное И разделён на музыку и тишь, Где каждый звук отточен и отстроен, Где ты вот-вот с Господних уст слетишь.

Каждый раз осень волнует меня много сильнее, чем другие времена года. Здесь, в сентябре, начинается новый отсчёт, душе задаётся правильная настройка.

Мир немного горчит и чувствуется острее. Во всём проступают какая-то обречённость и надежда одновременно.

Я вижу, как пространство делается объёмной и прозрачной, словно всё материальное и плотное истончается и истлевает.

И только ветер всё качает и качает небес-



ный маятник, и в незримых часах бесшумно двигаются стрелки.

Время внимательности и смирения.

В осени всегда есть что-то трагичное. В любой красоте увядания есть этот трагизм. В любой красоте вообще.

Но этот мягкий свет, но эти ранние сумерки, но эта интимность мира по отношению к тебе — так ощутима именно теперь.

Осень впитывает тебя аккуратно, внимательно, неспешно. Как сырой материал, как зыбкую субстанцию. Замешивает тебя очень чутко — до густоты и пластичности. И только потом, зимой, в тебе начнут кристаллизоваться новые формы, застывать изразцами, заостряться гранями.

Точно так же ведёт себя одиночество...

Осень обнажает в нас истинные чувства, уточняет в нас возраст.

Перемены едва заметны, но вечность уже подступает к самому стеклу, упирается в него лбом, и нет никакой возможности отвести глаза.

Осень строже требует честности, словно упраздняя всё внешнее, обращает тебя внутрь, заставляет структурировать собственное пространство. В ней есть что-то непоправимое, необратимое...

Именно осенью время приучает нас к утратам вдумчивой и аккуратней, как к обычному порядку вещей.

Здесь узнаёшь, как ощущение дома переходит извне вовнутрь. Как вдруг открываются смыслы, которые важнее жизни и смерти. Как люди оказываются много лучше, чем ты мог себе представить. Как одно короткое мгновение способно прокормить целую вечность. Как много Бога в каждом дыхании. Как часто мы находим совсем не там, где ищем. Как великие сокровища скрываются в самых простых вещах. Как отношения всегда важнее, чем доказательство собственной правоты. Как расстояние не делает близких далекими. Как свет можно найти даже в самой непроглядной тьме. Как шатка и непрочно наша реальность. Как жизнь ни на что не даёт гарантий. Как вечность проступает во всём, чему ты уделишь хоть немного своих внимания и тепла. Как много нежности может быть в самом суровом сердце, и как много духа в самом хрупком теле. Как добывают жизнь из почти ,Эпольного её отсутствия. Как любовь творит чудеса...

Дни всё короче. Пространство всё прозрачней...

Кажется, любой предмет теперь можно пройти насквозь. Свет такой пронзительный и почти ирреальный, словно на цветных снимках нашего детства.

Крона большого дерева за окном всё больше становится похожей на лоскутное одеяло. Чувствуешь, как и тебя осень латает — так же надёжно, легко и почти безболезненно.

Палитра меняется неспешно, осторожными мазками. Чуть больше резкости и контраста, чуть мягче и приглушённое тона.

Замечаешь, что даже сны становятся цвета сепии.

Сумерки густеют незаметно, как черничное варенье на медленном огне. Проснёшься ночью, сядешь в постели, и кажется, что тьма вот-вот выдавит стёкла, вольётся в комнату, и ты утонешь в ней, словно в чернилах...

Простые вещи уже не выходят из моды:

мятный чай, запах яблочной шарлотки, тёплый плед, вкус спелого инжира, утренний поцелуй, вечерняя прохлада...

Жизнь. Ничего, кроме жизни.

Уже зима касается плеча.

Покуда страх отлагивал прицелы, мы говорили о простых вещах и потому опять остались целы.

В картонном небе пробивая брешь, моя печаль летела и летела, но тишины винительный падеж теперь всё строже спрашивает с тела.

В который раз в попытке уравнивать с воздушным змеем самолёт бумажный я понимаю: нечего сказать, когда уже различие не важно.

И, к пустоте спины прислонясь, смотреть, как снег проламывает время, и, наконец, увидеть эту связь всего со всем, меня со всеми.

Всё, что осень в нас уточнила и сконцентрировала, все смыслы, которые она уплотнила и замесила в нас до густоты и пластичности, зима теперь должна огранить и кристаллизовать.

В отличие от осенней внимательной строгости и почти интимности, зима хладнокровна и безапелляционна.

Здесь не так много места для манёвра. Всё, что было обращено внутрь, теперь работает на обогрев собственного пространства. Всё, что обращено вовне, застывает коваными цветами в перилах лестниц.

Ещё несколько ступеней вверх, хотя бы несколько, пока кто-то собирает буквы из колодезья льда...

Время принудительного взросления. Время контуров и трафаретов, ничего лишнего.

Уснути из осени в зиму...

Это всегда немножко волшебство.

Это как в детстве — проснуться в первый день новогодних каникул. Столько разных возможностей, столько беспричинной радости, столько свободы!

Кажется, что новая жизнь начинается прямо с утра, что для счастья не нужно ничего особенного, а жизнь бесконечна и полна невероятных приключений.

Я помню времена, когда было желание проскочить зиму и очнуться уже в марте. Сейчас хочется смаковать каждый день. Смотреть, как подёргивается утренней дымкой проспект, как лужи стягиваются ледяным хрусталём, как из облаков понемногу просыпается снежная пыль, как посреди города монтируют огромную ёлку, как мамы кутают деток в шарфы, как галки в сквере оставляют тонкие следы на снегу, как заливают каток на центральной площади, как наряжают витрины к праздникам...

Хочется гулять по городу, выдыхать пар изо рта, прятать нос в шарф, смотреть на летящий снег, запрокинув голову.

Мне думается о том, что мы не умеем прожить свою жизнь. Особенно — когда она не оправдывает наших ожиданий. Кажется, что мы можем её как-то игнорировать, на что-то отвлекаться, побыть в стороне. Нам даже кажется, что проще поучаствовать в какой-то другой чужей-то жизни, пока наша протекает не по самому лучшему сценарию. Так, словно мы можем выйти из неё, как из автобуса,

чтобы потоптаться немножко на остановке и сесть в следующую. Но, вот незадача, следующего не будет!

Свою жизнь нельзя переждать ни в каком другом месте, ни в какое другое время.

Поэтому берегите себя. Не спускайте с себя глаз.

Зима раскачивается, как маятник — то дождь, то снег, то мороз, то оттепель. Медленные трамваи перетекают по городу цветными лентами. Предпраздничные витрины, цветные гирлянды, новогодние открытки, ярмарка на центральной площади, сахарные петушки на палочках...

Я снова пятилетняя девочка.

Память моя — лабиринт. Смотрю на него с высоты птичьего полёта: там облупленные стены, там кукольные домики, парковые скамейки, кладбищенские дорожки, мирт да шиповник, гравий да брусчатка. Столько жизни уместилось в этом картонном городке, в этой карманной вселенной.

Иногда нам кажется, что мы особенные, что нам отведена какая-то важная, но пока ещё не совсем различимая роль, что мы можем подарить что-то уникальное, что-то ценное этому миру... если только он обратит на нас внимание. Иные ведут себя так, будто это уже произошло.

Но как же велик зазор между тем, кем мы себя видим, и тем, кем являемся на самом деле.

Иногда стоит сечь мосты лишь затем, чтобы перейти реку вброд.

Как холодна моя вода, как непроглядна...

Но теперь я вижу, как много прекрасных людей на том берегу. Как они не спускают с меня глаз. Как невидимое небесное вещество течёт сквозь всех нас, заполняя пробелы и пустоты.

В ожидании снега город спит на семи холмах. Ветер качает его на небесных качелях. Моё сердце рвётся от нежности и печали.

Ни то, ни другое больше не смертельно.

Вечером город ужимается до пары близлежащих улиц, до нескольких крыш, до размеров двора, который видно из окон. Огоньки проезжающих машин свидетельствуют движение времени вернее, чем мерное тиканье настенных часов. Медленный снег, летящий поперёк света фонарей, напоминает всё сразу: дом в другом городе, новогодние праздники в прошедшем столетии, людей, приходящих ко мне зимой, и других, уходящих от меня в зиму. Каждый раз, подходя к окну, чувствую себя маленькой, и хочется неперестанно загадывать желания. Так, словно снег — гарантия непреходящего волшебства.

Это такое время. Оно сгущается, как патока, как воск в прошлогодних сотах... становится древесной смолой, янтарём, кристаллом. Стрелки часов делают полный круг, и ты стоишь по колено в зиме, как вечная Герда (календари здесь бессильны), где-то впереди маячит твой персональный Северный полюс. Но эти глыбы и глыбы льда нужно растопить — во что бы то ни стало. И кроме тебя, похоже, у тебя нет больше никаких средств.

Такое время... Это потом оно расслоится на амальгаму и эфир, на тёплые брызги и утреннюю дымку.

Всё образуется, все образуются. И жизнь опять победит смерть.

Потому что иначе не бывает.

А пока — вперёд, Герда, вперёд, моя девочка!..

Небо вытряхнет медленный снег — разлунит, как лист.

Время нас аккуратно разложит

по нотному стану

и склонится над каждым послушать:

«Звучит? Не звучит?»

И мы будем звучать в унисон неустанно

и выплывем вверх!..

И до самого неба достанем.

И когда я очнусь ото сна

в этом странном «нигде»,

совершенно одна в этом космосе

и запределье,

мне в глаза хлынут холод и свет,

словно в стылой воде

я качаюсь, как рыба в прозрачной постели,

и тверди мне нет.

Даже окна в domu запотели...

А потом наступит совсем новый год, никем ещё не населённый. И будет Сочельник... Я всегда вспоминаю, как это было в детстве. Наверное, ищу внутри отпечатки тех декораций: звуки, запахи, тот особенный свет — пространство, в котором ещё нет никаких жёстких границ и условностей, а мир ещё вариативен и гибок, как детское воображение. Эти воспоминания всегда связаны с моей бабушкой. И мне иногда снится домик, где

мы жили с ней, где прошли мои детство и отрочество, где моих детских горестей и радостей мне хватило потом на долгие киноленты памяти.

Бабушка ложится засветло и засыпает под телевизор. Не страшно спать, пока на улице не стемнело. Пока не стемнело, с тобой ничего не случится. Боженка бодрствует — не допустит.

Бабушка просыпается среди ночи и больше не ложится. Умереть во сне страшно.

А пока суетишься на кухне, месить тесто, протираешь пол или сидишь себе в очках, гречку перебираешь — что тебе станется? А нам бы лечь попозже да поспать подольше. У нас другое время, у нас смерти нет.

Бабушка заливает холодным чаем таблетку и минутку сидит тихонько, прислушиваясь.

— От чего таблетка, бабушка?

— А от всего, деточка.

— А как называется?

— Да кто ж его знает.

— Помогает, бабушка?

— Помогает, как не помочь!

Время бежит быстро, время расставляет метки и стирает ненужное.

Летом бабушка начинает готовиться к Рождеству, зимой уже думает о предстоящей Пасхе. Теперь в жизни только два чуда и есть — «Родился» и «Воскрес»!

Родился и воскрес, родился и воскрес... И нет места для смерти.

Поить внуков молоком с мёдом, сушить мокрые варежки, пришивать пуговицы на пальтишках.

Ещё ничего не зная, но уже обо всём догадываться.

Смотреть на медленный снег за окном... пока под языком тает таблетка.

Ёлка, Сочельник, метель метёт...

Снега на улице — горы!

Девочка смотрит в окно и ждёт.

Мама повесила шторы,

Мама намазала кремом коржи —

нет ничего вкуснее,

Мама решила иначе жить —

утро опять мудренее.

Девочка ждёт, кулачки зажав.

Мама молчит подолгу.

Папа приедет, он обещал...

Взрослые врать не могут.

Как на верхушке горит звезда,

как мандарины пахнут!

Платье у девочки — красота!

Папа увидит — ахнет!

Ёлка, сочельник, блестят огни,

медленно время тает.

Девочки в детстве совсем одни,

просто никто не знает...

Ночь за окном, не видать ни зги.

Слёзы к утру высыхают.

Спят в своих комнатах девочки —

маленькая и большая.

Каждый раз, пока время тщательно подбирал нас по тональности, как созвучные ноты, пока примеряет друг к другу в попытке идеальной рифмы, кто-то делает закладку внутри книги, кто-то запоминает последнюю фразу, кто-то останавливает часы...

Пространство расходится кругами, и колесо возвращается вхолостую. Там, где мы, наконец, совпадаем, где находимся в фазе идеальных отношений, главное — не делать резких движений, не пытаться вырваться из настоящего момента. Ни впереди, ни позади нас дороги нет. Ни одно сердце не способно биться в прошлом или будущем. У него всегда есть только один удар. Сейчас.

Хочется остановить время, но оно и без того стоит на месте. Ждёт, когда мы сами пройдем сквозь него...

Глупые мы люди.

Я вижу облако и говорю себе: «Смотри, облако!»

Я вижу птицу и говорю себе: «Смотри, птица!»

Меня переполняют трепет и восторг, словно вижу всё в первый раз.

Меня переполняют печаль и нежность, словно вижу всё в последний...

Сердце во мне парит, как в невесомости. Внутри гулко, будто в чреве большого колокола. Однажды придёт звонарь, и каждый из нас вдруг зазвучит особым протяжным звоном. И тогда время сбивается с места. И поплывёт нам навстречу...

Когда я снова с конгуром сольюсь,
Когда мне будет нечего терять,
Я из картины выпадю опять
И тем спасусь...

Когда меня вкопают в этот свод,
Где лишь глазами трогать облака,
Я распадусь на буквы языка,
И плоть стечёт...

Анна ГОЛУБОВСКАЯ "Город Антонеску"

Вот уже несколько ночей я не могу оторваться от Книги, точнее, двухтомника, одной из самых страшных книг, что я держала когда-то в руках. Наверное, самой страшной.

Яков Верховский и Валентина Тырмос. "Город Антонеску" — книга об оккупации Одессы, об уничтожении евреев.

Авторы, чудом выжившие дети, всю жизнь собирали документы, работали в Яд-Вашеме и других архивах, искали свидетелей.

По дням.

По часам.

По именам.

Вроде бы я многое знала, читала...

Читать невыносимо. Не читать — невозможно.

Многого я не понимала, даже зная факты. Например, все знают, что на взрыв сигуранцы на Маразлиевской фашисты ответили тысячами и тысячами повешенных евреев на деревьях по всей Одессе, сожженных в пороховых складах и убитых в Дальнике. Но до взрыва в Одессе был взрыв Крещатика и Бабий Яр, и для Сталина, для верхушки была предсказуема и очевидна такая реакция фашистов.

Но на это было плевать.

Никакой эвакуации, никаких попыток обезопасить своих сограждан.

Для меня очень давно между сталинизмом и фашизмом стоит знак равенства, но, думаю, эта книга убедит любого.

А самое страшное — даже не описания нечеловеческих мук и пыток, страшнее всего — бесчеловечная статистика.

И сегодня нет точных чисел. Десятки тысяч сожженных, десятки — убитых в Дальнике и Богдановке.

Если до войны евреи составляли до половины городского населения, то в оккупацию, после первого колоссального уничтожения в гетто, из двухсот тысяч горожан в гетто, лагерях смерти еще оставалось около сорока тысяч евреев.

Кому-то удавалось вырваться, бежать. И тут — самое болезненное для меня.

Сдавали.

Сдавали!



В Одессе во время оккупации.

Фотография из собрания Интернет-проекта "Старая Одесса в фотографиях": old.odessa.ua

Михаил ТАЛАЛАЙ Антифашисты

В Италии прославилась — как тонкая писательница — Наталия Гинзбург. От мужа-одессита она получила фамилию «идиш», а вот имя, как ни странно, у нее «родом» итальянское, ибо Наталия родилась в Ливорно, училась в Турине, где и познакомилась с молодым гениальным филологом, сбжавшим от бедствий Гражданской войны на Родине (если точнее — то его мальчиком увезли из Одессы родители).

Центральный роман Наталии Гинзбург, «Семейные беседы» («Lessico familiare»; дословно: «Семейный лексикон»), вышел в переводе на русский язык в 1989 году. В настоящее время книга признана итальянской классикой: о ней пишут исследования и диссертации. По сути дела, это традиционная семейная хроника, но написанная уже в русле новейшей беллетристики. Когда появился роман Гинзбург, Италия вышла из послевоенного кризиса и с облегчением прощалась со своим муссолиниевским прошлым: о жизни антифашистов при фашистах и рассказывает преимущественно книга Гинзбург — в легкой и выразительной форме семейных историй. Один из главных героев, естественно, супруг писательницы, Лев Федорович Гинзбург (1909 — 1944): его образ по праву занимает многие и многие страницы.

Лев Гинзбург — дважды герой.

Попав в Италию (после нескольких берлинских лет), подвижный созидательной ностальгией, он берется за переводы отечественной классики — Пушкина, Толстого, Гоголя. Эти блестящие переводы не утратили своей свежести и значимости и теперь. Окончив университет в Турине и будучи принятым доцентом на филфаке, он успевает прочитать своим студентам лишь один-единственный курс. Вскоре от него потребуют присягнуть фашистскому режиму, что сделают все его коллеги...

Тут начинается вторая героическая стезя: Лев (которого теперь зовут Леоне) категорически отказывается от присяги Муссолини. Его изгоняют из университета. Начинаются преследования, аресты, ссылки, подпольная борьба, которая завершилась гибелью под пытками в застенках гестапо в Риме — весной 1944 года, накануне освобождения итальянской столицы войсками союзников.

Удивительно, но в московском издании

«Семейных бесед» 1989 года ни слова не сказано об антифашистской борьбе Гинзбурга... Можно только гадать: быть может, причиной было его неприятие большевизма? Или же его интерес (достаточно сдержанный) к земляку и тезке Троцкому — Гинзбург анонимно способствовал переводам мемуаров опального революционера.

Еще более удивительно, что в русском переводе итальянской книги, богатой разного рода редкими историческими реалиями, именами и проч., дана одна лишь разъяснительная сноска. Читатель в примечании рассказал, что такое «капучино» (итальянский кофейный напиток)!

Как бы то ни было, о Лье Гинзбурге на его родине стали вспоминать совсем недавно. Первым брешь в молчании пробил его сын, Карло Гинзбург. Став одним из самых видных историков современности, основав новое направление — микроисторию, получив целую серию переводов своих трактатов на русский (самый известный — «Сыр и черви»), Карло в своих интервью постоянно подчеркивал одесские корни свои отца, рассказывал о его значении для Италии.

...В конце августа 2017 г. в Монополи, уютном городке на Адриатическом море, прошел семинар литературоведческого плана, посвященный Льву и Наталии Гинзбургам. Семинар был организован в рамках летней школы филологического журнала «Энтиме-ма» (Милан).

Вне сомнения, главное внимание собравшихся было обращено на доклад маститого историка Карло Гинзбурга, изложившего глубокий анализ теоретических статей своего отца, посвященных русской литературе. Следует отметить, что наследие Льва Гинзбурга: эссе, эпистолярный и др. — бережно публикует одно из ведущих итальянских издательств, «Einaudi», в основании которого и становлении (уже полуподпольно) принял участие выходец из Одессы. Один из основных докладов принадлежал именно сотруднику «Einaudi» Доменико Скарпа, который в Италии по справедливости считается главным специалистом по текстам Гинзбургов.

Несмотря на краткую жизнь, Лев Федорович успел оставить глубокое литературоведческое наследие, одним из первых в Италии

А если не сдавали — молчали, отворачивались, не замечали.

И весь миф о нашем толерантном ко всем нациям городе для меня рассыпается...

В Прохоровском сквере — около пятидесяти березок Праведникам мира.

Хорошо, пусть мы знаем не всех, кто помог, скрывал, рискуя жизнью.

Пусть их было вдвое, втрое больше!

Это всего 150 человек, даже не один процент, 0,01 процента на город...

Словом... вот о чем я думаю сегодня.

ознакомившись с русской школой формализма (Шкловский и другие). Об этом рассказала профессор Стефания Сини из университета Восточного Пьемонта.

Волнующим оказалось для докладчиков представление Льва и Наталию Гинзбургов перед их сыном.

Отправным пунктом для реконструкции их жизненного и творческого пути для многих послужили воспоминания сестры Льва, Марии, которую все в Италии звали уменьшительным именем — Маруся. Именно как Marussia Ginzburg она и выпустила в свет книгу под названием «Из Одессы в Турин» («Da Odessa a Torino»). Марии Федоровне удалось пережить мрачную фашистскую эпоху, а после Второй мировой войны она стала известна в Турине как прекрасная преподавательница русского языка.

Знаменательно, что писательницей стала и внучка Льва и Наталии Гинзбург, дочь историка Карло, Лиза — ее первый роман, 2002 года, имеет своим титулом цитату из Ахматовой «Она грозы желала» («Desiderava la bufera»), а своим героем — римского преподавателя русской литературы, поклонника Чехова.

Автору этих строк досталась на семинаре интересная задача — представить семейную историю Гинзбургов, но не Льва и Наталии, а родителей Льва — Федора и Веры.

Федор Николаевич родился в Литве, много торговал с Германией, через Петербург, где и познакомился с Верой Семеновной Грилихес. Молодая пара переехала из российской столицы в Одессу, где у Федора бурно развивался бизнес: как пишет его дочь Маруся, он приобрел немецкий патент на производство пластиковых рыбачьих сетей и продавал их по всему северному Черноморью. Если Федор успешно занимался бизнесом, то Вера реализовала свой общественный темперамент: она особенно уделяла внимание дошкольному образованию, на посту зампреда общества дошкольного воспитания еврейских детей внедряла в Одессе передовую систему итальянского педагога Марио Монтессори. Надо сказать, что Гинзбурги хорошо знали и любили Италию, часто ездили туда отдыхать.

Разбогатец, Федор Николаевич купил красивый дом на улице Жуковского, 36, сохранившийся донныне. Именно там и родился будущий герой Лев, он же Леоне.

Будем надеяться, что когда-нибудь на его стенах появится мемориальная доска следующего содержания: «В этом доме родился и провел первые годы литературовед Лев Гинзбург (1909 — 1944), герой итальянского Сопротивления».

Милан.